

Валерий Антонов

Бочка на Агоре



Валерий Антонов

Бочка на Агоре

<https://litres.ru/74177023>

SelfPub; 2026

Аннотация

Умирающий сантехник Виктор Унитазов лежит в больничной палате, где даже потолок покрыт пятном гнили, похожим на карту иного мира. Каждую ночь он проваливается в античные Афины — в мир, где время течёт по кругу, а философы бродят среди пыльных базаров. Там он встречает Диогена, Сократа и самого Александра Македонского. Но этот мир — не сон и не бред. Это последняя битва за свободу. Через диалоги с киниками и киренаиками, через унижение и откровение Унитазов учится главному: свобода — это не обладание, а способность быть никем. Его единственное наследство дочери — не деньги, не квартира, а зелёная тетрадь, в которой записана правда о том, как стать водой и перестать бояться. Философский роман-исповедь о распаде, грязи и редком свете внутри неё. Вода течёт. Вода не боится.

Содержание

Пролог. Пятно, выедающее глаза	4
Глава 1. Дом, где нет стен, или учреждение пустоты.	16
Глава 2. Ночлег у врага, или канцелярия тьмы.	32
Глава 3. Приглашение в дом, или трапеза отверженных.	44
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Валерий Антонов

Бочка на Агоре

Пролог. Пятно, выедающее глаза

Потолок был белым, но белизна эта была не невинностью, а отсутствием. Казалось, он засасывает взгляд, лишая его предметности. На нём расплывалось жёлтое пятно — не просто след протечки, а некая изначальная данность, первичная карта мира, нарисованная гнилью. Открывая глаза, он уже не верил в реальность самого потолка, но в реальность пятна верил абсолютно. Оно существовало всегда, как канцелярская ошибка в небесной книге учёта душ. Очертания его, напоминавшие внутренности неизвестного животного, были неизменны и оттого бесконечно подозрительны.

Запах хлорки смешивался с горьковатым душком его собственного тела, медленно и законно разлагающегося согласно некоему циркуляру. Мир сжался до размеров койки, казённой тумбочки и капельницы — этого прозрачного, методичного палача, отсчитывающего капли с педантичностью переписчика.

Санитарка вошла без стука. Это не было грубостью — она обладала правом входа, правом, данным ей существом более высокого порядка, чем главврач. Она была функцией. В её

движениях сквозила скучная неотвратимость.

— Ну что, Унитазов, дышим? — спросила она, и фамилия прозвучала не как имя, а как приговор, как статья обвинения в том, что он — это всего лишь пустая, зловонная оболочка, пригодная лишь для отходов. Голос её был страшно знаком, он воспроизводился в его голове с точностью патефонной иглы, попавшей в одну и ту же бороздку.

— Дышу, — прохрипел он, и собственный голос показался ему звуком, издаваемым неодушевлённым предметом.

Она подошла. Два пальца на запястье — влажные, тёплые, нащупывающие ту самую точку, где жизнь пульсирует тонкой, беспомощной нитью. Это была процедура. Её большой палец надавил на вену, и на мгновение ему показалось, что не она измеряет его пульс, а он отдаёт ей свою кровь, перекачивая её в это бесстрастное, уставшее от жизни тело.

— Сегодня не умирай, ладно? — сказала она с той же интонацией, какой просят не шуметь. — У меня дел по горло. Сначала обход, потом уколы в седьмой палате, а потом отчётность. Завтра, если хочешь. Но сегодня — нет.

Она ушла, и дверь закрылась с причмокивающим, окончательным звуком. Мир начал схлопываться, как папка с делом, отправляемым в архив. Сначала исчез свет, оставив серую муть, наполненную взвесью небытия. Затем запахи схлынули, словно сливная вода, оставив лишь это: монотон-

ный, потусторонний писк. Тук. Тук. Тук.

А потом исчез и звук.

Он провалился. Не в сон, а в иную юрисдикцию бытия.

Реальность была та же. Это было самое ужасное. Белый, раскалённый, канцелярски-чистый свет. Небо — синее до тошнотворной глубины, цвет чернил, разъедающих бумагу. Шершавый камень под спиной, нагретый до температуры человеческой плоти, только что покинутой душой. Ступени.

Ступени Храма. Неизменного, как резолюция.

Он уже не удивлялся. С пугающей педантичностью он регистрировал детали этой вечности. Вот олива — её корявый ствол, скрученный, как позвоночник утопленника. Вот трещина в плите — точная копия той, что была вчера, и позавчера, и будет всегда. Агора внизу издавала предписанный ей шум: механическое бляение коз, лязг амфор, крики рабов, сливающиеся в непрерывный, гнусавый хор. Всё это двигалось по кругу, лишённое смысла, но переполненное служебным рвением.

И он увидел его. Диогена.

Он лежал на ступенях храма Гефеста, распластанный, как выпотрошенный мешок. Грязный хитон, синюшные босые ноги в пыли и ссадинах, спутанная борода, в которой застря-

ли крошки и кусочки какого-то эфирного мусора. Он был не просто грязен — он был воплощением той предельной, абсолютной заброшенности, когда тело становится вещью, ненужным предметом обстановки. Чаша, палка, обожжённый конец.

Унитазов смотрел на него и чувствовал, как его наполняет ледяной, метафизический холод. Это была не боязнь смерти, а ужас перед точностью повторения. Он знал: сейчас этот кусок плоти, называемый киником, откроет глаза. Он ждал. Минута. Две. Пять. Вечность.

Диоген не шевелился. Он был трупом, забытым в декорации. Мир завис, и Унитазов ощутил тошнотворное чувство: он боится. Боится не того, что умрёт, а того, что это и есть бессмертие — вечное возвращение в одну и ту же точку застывшего кошмара.

— Слезай! — вдруг гаркнул голос, хриплый и звонкий одновременно, словно треснувший колокол, бьющий по голому нерву. Диоген разлепил веки. — Сидишь там, как ворона на падали. Иди сюда. Есть что сказать.

Страх сменился облегчением — тошнотворным, почти унижительным. Механизм снова пришёл в движение. Шестерёнки ада повернулись. Унитазов спустился сквозь толпу, расступавшуюся перед ним, как расступаются кишки перед

острым предметом, внедряющимся в брюшную полость. Люди глядели на него с пустым, скотским любопытством. Чужак в нездешней одежде.

Диоген подвинул своё тело, освобождая место на камне, источавшем жар, подобно печи. Унитазов сел, и жар проник в него, смешиваясь с внутренним холодом.

— Ты, — сказал философ, ткнув в его больничную рубашку грязным пальцем с ногтем, похожим на коготь птицы-падальщика. — Из той дыры. Я вижу. Это здесь не носят. Это носят те, кто ещё не решил, труп он или нет.

— Я знаю, — сказал Унитазов.

— И ты пришёл не просто так. Вы все, выходцы из преддверий, что-то ищете. Или пытаетесь укрыться от того, что уже нашли и что нашло вас.

Унитазов молчал. Его внутреннее существо сжалось. Сценарий повторялся с чудовищной точностью. И снова: «Меня зовут Диоген. Киник. Собака. Плевок в лицо этому миру, который заживо гниёт, даже не успев родиться». И снова вопрос о свободе. Но на этот раз слова застряли в глотке, как волосяной ком. Он понял, что текст утратил над ним власть. Он хотел сказать о свободе как о праве на труд без страха, но понял: это формула пустоты, строчка из анкеты отдела кадров Преисподней.

Диоген посмотрел на него взглядом, проникающим в самый низ живота, туда, где зарождается животный ужас.

— Ты ищешь свободу там, где её нет, а есть только распределение, — прохрипел он. Голос его шёл не из горла, а откуда-то из брюшной полости, насыщенный пищеварительными соками. — Свобода — это когда тебе так всё равно, что ты сам становишься дырой, через которую всё проходит. Один ты или нет — не важно. Важно, что ты уже не совсем ты.

Унитазов зажмурился. Писк прибора ворвался в череп. Тук-тук. Сердце или метроном распадается.

— Возвращайся, — произнёс Диоген с той же усмешкой, обнажая дёсны, чёрные у корней. — Я буду здесь. Вечно. Как глист в теле этого города. Жду, пока кто-то спросит о свободе, вместо того чтобы взять и просто перестать существовать.

Свет померк. Камень остыл, вбирая в себя последние остатки жизни.

— Завтра я укушу тебя по-настоящему, — донеслось из пустоты. — И через укус ты, возможно, перестанешь быть этим. А станешь... просто пылью.

Запах хлорки ударил в ноздри, как нашатырь. Белый по-

толок. Жёлтое пятно. Писк.

Санитарка держала его за запястье, как держат утопленника, проверяя, не пора ли списывать в утиль.

— Ну что, Унитазов, вернулся?

— Вернулся, — выдавил он, чувствуя, что язык принадлежит мертвецу.

— Хорошо. Не умирай до утра. У меня завтра комиссия из министерства. Трупы до окончания проверки не рассмотрены.

Он не ответил. Он смотрел на жёлтое пятно. Оно росло. Клянусь, оно росло. Оно пожирало потолок, подбираясь к углам. Это повторение не дарило надежду — оно было репетицией ада. Он не знал, учится ли он жить или его уже нет, а есть только бесконечная канцелярская ошибка, циркулирующая между белым склепом и раскалёнными ступенями.

Он закрыл глаза. В темноте под веками двигались тени.

«Завтра, — прошелестел он. — Я приду. И буду спрашивать. Чтобы убедиться, что я ещё не окончательно рассыпался».

Тишина. И тень собаки на стене, выедающая штукатурку. Он проснулся от того, что кто-то внюхивался в его душу

через рот.

Запах был нездешним. Терпкий, кисло-сладкий, с примесью гниющей оливы и палёной шерсти. Это был запах того мира.

Он открыл глаза.

Неба не было видно за сетью облаков, похожих на вывернутые кишки. Облако-собака висело на прежнем месте. Облако-труп висело чуть левее. Картинка была до жути знакомой.

Он сидел на сухой траве, коловшей кожу, как иглы. Олива стояла рядом — неизменная, как кость. Он подошёл. Провёл пальцами по коре. Та же трещина. Тот же сучок, похожий на выбитый глаз. Он провёл по нему пальцем, и на руке остался след, как от раны.

— Ты снова здесь, — раздался голос, лишённый удивления.

Диоген стоял у подножия холма, опираясь на свою палку. Он смотрел не на Унитазова, а сквозь него, в то пространство, где у нормального человека помещается душа, а у Унитазова зияла пустота.

— Я не знаю, как сюда попал. Это просто... случилось.

— Ты думаешь, я тебя вызываю, как духа на спиритическом сеансе? — Диоген сплюнул, и слюна зашипела на камне. — Это ты сам вылезаете из своей вонючей оболочки и приползаете сюда. Ты ищешь дыру. Ты ищешь выход отсюда туда, не понимая, что ты давно уже внутри.

— Почему всё одинаково?! — закричал Унитазов, чувствуя, как горло раздирает изнутри невысказанный, многодневный ужас. — Почему одно и то же? Слова, облака, трещины? Ты говоришь одно и то же! Это вечность?

Диоген оскалился.

— Ты ищешь причину там, где её нет, жалкий ты кусок. Мир не повторяется. Это ты — повторение. Ты — нарост. Ты приходишь сюда с тем же страхом, с той же пустотой внутри и ждёшь, что декорации изменятся, пока ты сам неизменен. Но они не изменятся. Они — труп, и ты — труп. А трупы не меняются, они просто гниют по кругу.

— Я хочу выбраться!

— Ты не в ловушке, — Диоген приблизил своё лицо, и Унитазов увидел в его зрачках бездну, кишашую мелкими, черными существами. — Ты и есть ловушка. Ты — бесконечно запертая внутри себя пустота. И пока ты цепляешься

за свой страх, ты будешь видеть то же самое. Как червь, который прогрызает ход в собственной плоти и думает, что познаёт вселенную.

— Я боюсь, что это — не сон. Что я застрял здесь навсегда и сойду с ума.

— Ты уже сошёл с ума, — произнёс Диоген почти нежно, и от этой интонации повеяло ледяным холодом бездны. — Все давно сошли с ума. Они называют это жизнью. Просыпаться, жрать, испражняться, бояться смерти и снова засыпать — это ли не безумие, возведённое в вечный, механический ритуал? Ты хотя бы заметил, что умер. Это уже начало распада. Это хорошо.

— Как вырваться? — прошептал Унитазов.

Диоген молчал, глядя куда-то вбок, туда, где дымил очаг, источая густой, как кровь, дым.

— Перестань бояться того, что ты — ничто, — сказал он нараспев, словно исполняя дикую, погребальную песнь. — Перестань думать, что мир изменится. Мир есть вечная неизменность, гигантская канцелярия распада. Но ты можешь измениться. Можешь окончательно осознать себя тем, кто ты есть — грязью, обрывком сна, куском падали, мечтающим о бессмертии. Когда ты прильнёшь к своей гнили и

полюбишь её, круг разомкнётся. Идём.

Он встал, и тело его издало звук, подобный шороху сухих листьев. Унитазов покорно, как привязанный, пошёл за ним. Они шли по пыльной дороге. Ветка оливы качнулась, но ветра не было. Тень от облака ползла вспять. Женщина с кувшином поскользнулась и осталась лежать в пыли, и никто к ней не подошёл, ибо это было лишь частью узора.

Унитазов вдруг начал видеть. Это было мучительно, как будто с его глаз сдирали катаракту, выросшую внутрь черепа. Он увидел, что мир дышит. Он дышит гниением, меняется не в формах, а в степени разложения. Каждый повтор — это не новое начало, а новый виток спуска в ту самую дыру, о которой говорил Диоген.

— Ты начинаешь чують, — сказал Киник, не оборачиваясь. — Ты чуешь запах своей собственной бойни.

Они поднялись на холм. Сверху открывался вид на Город — гигантский труп, кишачий червями-людьми. Море вдали отливало свинцом.

— Ты готов, — сказал Диоген. — Идти дальше. Узнать, что такое Свобода. Это не освобождение. Это — окончательное проваливание в себя, после которого нет ни верха, ни низа, ни страха, ни самого тебя. Там только тьма и тихий, бесконечный вой.

— Я готов, — сказал Унитазов, чувствуя, как его внутренности завязываются в узел. — Я хочу быть свободным. Даже если свобода — это смерть.

Диоген улыbnулся. Челюсть его отвалилась чуть ниже положенного, открывая вход в пищевод, уходящий во тьму.

— Тогда идём, — сказал он. — Завтра я укушу тебя. И ты станешь мной. Или просто исчезнешь.

Они спускались с холма, и земля под босыми ногами Унитазова становилась мягкой, как разлагающаяся плоть. Пульс в ушах бился в такт шагам. Тук. Тук. Тук. Это был уже не стук сердца, а шаги. Шаги в никуда.

«Завтра я проснусь в палате, — подумал Унитазов, и мысль эта была тёплой, почти уютной, как предсмертная испарина. — И буду ждать Её пальцев на запястье. Я не буду бояться. Я буду знать: я опять приду. И увижу гниль. И улыbnусь ей».

Тень собаки на стене росла, пока не поглотила весь мир.

Глава 1. Дом, где нет стен, или учреждение пустоты.

«Я нашёл её в подвале старой школы. Обложка была зелёной, страницы — в жёлтых пятнах, похожих на карты неведомых земель. Я сел на холодный бетонный пол и открыл первую страницу. Буквы были корявыми, пляшущими, как будто их писал умирающий. Или уже мёртвый. Я не понял ни слова. Но я не мог оторваться. Что-то в этом тексте дышало. Что-то жило.

Я перелистнул несколько страниц назад. И замер.

Там, в самом начале, был другой почерк. Старый. Написанный на греческом. Я не знал греческого тогда. Но я почему-то понимал. Слова проникали в меня, как вода в сухую землю.

Это был Сократ. Настоящий. Тот самый, который пил цикуту. Он писал в этой тетради. Но он не был первым. Первым был другой человек — тот, чьи корявые буквы я видел на следующих страницах. Сантехник. Умирающий. Отец, который пытался сказать своей дочери что-то важное.

Я не знал тогда, что эти двое встретились. Что Сократ уже читал эту тетрадь и вернул её. Что он знал о сантехнике больше, чем сам сантехник знал о себе. Я просто дер-

жал её в руках и чувствовал: она выбрала меня. Или я выбрал её. Это было одно и то же».

Палата встретила его серым светом, какой бывает в канцеляриях перед началом рабочего дня, когда ещё не зажжены лампы, но уже ясно, что надежды нет. Жёлтое пятно на потолке стало бледнее, словно истекло за ночь сукровицей, или, возможно, это его зрачки, обожжённые афинским солнцем, перестали различать оттенки гнили. Писк прибора был ровным, безупречно ритмичным — звук, сопровождающий подписание смертного приговора. Но сегодня он не пугал. Сегодня он звучал как гудок далёкого парохода, уходящего в небытие.

Рядом с койкой, на тумбочке, лежала зелёная тетрадь в клетку. Та самая. Он узнал её по обложке, по потёртым углам, по пятну, похожему на карту неведомой земли. Он помнил, как Сократ — настоящий, древний, с глазами, в которых плескалась вечность, — вернул её ему. Это было в прошлом сне. Или в прошлой жизни. Он уже не различал.

— Ты потерял это, — сказал тогда Сократ, протягивая тетрадь. — Или оно потеряло тебя. Я прочитал. Там есть строки, которые ты не писал. Или писал, но не помнишь. Это неважно. Тетрадь помнит за тебя.

Унитазов взял тетрадь, не зная, что ответить. Он хотел спросить, что значит «тетрадь помнит», но Сократ уже исчез, растворился в золотистом свете афинского утра, оставив только этот вопрос, висящий в воздухе, как пыльца на ветру.

И вот теперь тетрадь лежала на тумбочке. Унитазов смотрел на неё, и ему казалось, что она дышит — ровно, спокойно, как спящий зверь.

Он протянул руку. Пальцы дрожали. Он открыл тетрадь. Страницы пахли сыростью и чем-то ещё — оливами, пылью, временем. Он перелистнул несколько страниц назад, туда, где начиналась его исповедь, его корявые, пляшущие буквы. Всё было на месте. Он узнавал каждое слово: «Я боюсь», «Я — никто», «Я хочу быть свободным». Это был его голос. Его боль. Его жизнь, вылитая на бумагу.

Но в самом начале, перед его записями, появилось нечто новое. Он не видел этого раньше. Вчера этих страниц не было. Или они были, но он не замечал? Он перелистнул назад, туда, где тетрадь была пуста. Но теперь она не была пуста.

Там, на первой странице, стоял другой почерк. Старый. Вычурный. С буквами, которые он не мог прочитать. Или мог? Он вдруг понял, что понимает эти слова, хотя никогда не учил греческий. Они проникали в него, как вода в сухую землю, как яд в вену, как правда в душу.

Он прочитал:

«Я, Сократ, сын Софрониска, пишу это на следующий день после того, как встретил человека из будущего. Он не знает, кто он. Он думает, что он — сантехник, алкоголик, неудачник. Но он ошибается. Он — сосуд. Он — тот, кто держит эту тетрадь. И он передаст её дальше. Не потому что он мудр. А потому что он пуст. А пустота — это

единственное, что может вместить истину».

Унитазов замер. Он узнал этот почерк. Это был почерк Сократа. Тот самый, которым он писал на песке у фонтана, когда они встретились в первый раз. Но тогда он не оставлял записей. Он просто говорил. А теперь — писал. Или это тетрадь записала его слова? Или Сократ вернулся в неё, как возвращаются в дом, который никогда не покидали?

Он перевернул страницу. Там было продолжение:

«Я вернул тетрадь её хозяину. Он не знает, как она попала ко мне. Я не знаю, как она попала к нему. Это не имеет значения. Тетрадь всегда находит того, кто в ней нуждается. Она приходила ко мне, когда я умирал. Она утешала меня перед цыкутой. А теперь она пришла к нему. Чтобы он умер не один. Чтобы он знал: его голос не исчезнет. Тетрадь запомнит его. Как запомнила меня».

Унитазов перечитал этот абзац трижды. Слезы текли по его щекам, оставляя мокрые дорожки на пергаментной коже. Он не знал, плачет ли от боли или от благодарности. Он смотрел на буквы, и они светились слабым, золотистым светом — или это ему казалось?

Он перелистнул ещё несколько страниц. Там, между его собственными записями, появились новые фрагменты, вкраплённые в его текст, как драгоценные камни в грязную землю:

«Ты спрашиваешь, что такое свобода. Я спрашивал то же самое. Ответа нет. Но есть вопрос. И пока есть вопрос,

ты жив».

«Ты боишься смерти? Я тоже боялся. А потом понял: смерть — это просто пустая строка в конце. Ты можешь заполнить её. Своими вопросами. Своей любовью. Своей тетрадью».

«Твоя дочь не прочитает это. Или прочитает. Это неважно. Важно, что ты пишешь. Важно, что ты есть. Даже когда тебя нет».

Унитазов закрыл глаза. Где-то в глубине его сознания, под слоем усталости и боли, зажглась искра. Он не был философом. Он был сантехником. Но он понял, что этот человек, живший две с половиной тысячи лет назад, говорил с ним. Через тетрадь. Через время. Через смерть. Они встретились. Они поговорили. И теперь Сократ оставил ему послание. Или не ему. Тому, кто прочитает тетрадь после него.

Он открыл глаза. Текст на первой странице начал бледнеть. Буквы таяли, как снег на солнце, как утренний туман, как сама жизнь. Сократ уходил. Или уступал место. Унитазов хотел запомнить каждое слово, но они уже исчезали, оставляя только чистый лист. Или почти чистый. На его месте медленно, как проявление фотографии, начали проявляться другие буквы. Корявые. Дрожащие. Его собственные.

Он взял карандаш. На чистой странице, дрожащей рукой, вывел: «Я боюсь».

Он моргнул. Буквы дрогнули. «Я боюсь» превратилось в «Я был».

Он выругался. Перечеркнул. Написал снова: «Я хочу быть свободным».

Строка замерцала. «Я хочу быть свободным» сменилось на «Ты уже свободен. Просто ты ещё не знаешь этого».

Он отбросил карандаш. Тетрадь упала на пол. Он смотрел на неё с ужасом и любопытством. Она лежала неподвижно. Обычная зелёная тетрадь в клетку. Но он знал: она ответила ему. Она всегда будет отвечать. Не словами. Судьбой. И она хранила в себе голос Сократа. Голос, который не хотел замолкать.

Он наклонился, поднял тетрадь и снова открыл её. На той странице, где только что исчезли записи Сократа, появилось что-то новое. Тот же почерк. Но строки были другими:

«Ты не один. Я тоже был один. И я тоже искал. Ты найдёшь то, что ищешь. Или не найдёшь. Но ты уже не будешь прежним. Тетрадь меняет тех, кто её держит. Она меняет меня. Она меняет тебя. Она будет менять всех, кто откроет её. Это — её предназначение. Это — её проклятие. Это — её дар».

Унитазов закрыл тетрадь и прижал её к груди. Там, где билось сердце, он почувствовал лёгкое, едва уловимое тепло. Или это ему показалось?

Санитарка вошла. Она всегда входила, наделённая правом входа, дарованным ей неведомой, но вполне реальной инстанцией. Но сегодня её шаг был чуть сбит, на долю секунды замедлен у порога, словно она споткнулась о невидимый

протокол.

— Ты выглядишь иначе, — констатировала она, и в голосе её прозвучала не радость, а тревога чиновника, заметившего ошибку в ведомости. — Как будто выпался. Этого не должно быть.

— Я действительно выпался, — ответил он, и собственный голос показался ему чужим — голосом из другого департамента.

Она нахмурилась. Её движения, отточенные до автоматизма тысячи повторений, на мгновение утратили механическую чёткость. Она поправила капельницу, взгляд её метнулся к пятну на потолке, будто ища у него поддержки. Унитазов вдруг увидел то, чего не замечал ранее: под её накрахмаленным халатом, под слоем профессионального цинизма, копошился голый, дрожащий страх. Она боялась не за него. Она боялась за рутину, за священный, незыблемый порядок вещей. Сбой в её расписании смерти был бы воспринят там, наверху, как саботаж. Она была не просто рабыней, она была винтиком, осознавшим себя винтиком, и это осознание причиняло ей почти физическую боль.

— Завтра я, наверное, умру, — сказал он бесстрастно, словно сообщал о переводе в другой отдел.

Она замерла. Пальцы её, сжимавшие простыню, побелели.

— Этого не может быть, — выдохнула она, и это была не реплика, а заклинание. — Откуда ты знаешь? Никто не знает. Даже врачи. Даже Комиссия.

— Чувствую, — ответил он. — Как будто директива уже спущена. Я не боюсь. Это просто переход. Переход из одного учреждения в другое.

Санитарка покачала головой с тем особым, тяжеловесным недоумением, с каким старый клерк взирает на безумца, отрицающего авторитет печати.

— Странный ты, Унитазов. Все здесь цепляются за существование, как за край унитаза, лишь бы не провалиться в слив. А ты говоришь о смерти, как о прогулке по коридору.

— Потому что я научился не быть, — сказал он. — Это просто перетекание. Грязная вода из одного ведра в другое.

Она ничего не ответила. Взяла его за руку. Пальцы её были влажны и горячи, они впились в запястье, нащупывая пульс — ту самую ниточку, за которую она, как марионетку, ежедневно вытягивала его из бездны. Но сегодня нить дрожала в её руках. Через минуту она уйдёт. Он провалится. Он знал это. И в этом знании была странная, потусторонняя бюрократическая точность.

Дверь закрылась. Мир схлопнулся не с грохотом, а с тихим шелестом подшиваемого дела.

Он провалился в небо. Оно было таким же синим — синим до тошноты, до рези в глазах, до ощущения, что смотришь в разверстую вену Бога. Облака плыли над ним. Вчерашнее облако, похожее на собаку, сегодня истекало клочьями, превращаясь в птицу с перебитым крылом. Динамика существовала. Она пронизывала мир медленным, гнилостным

распадом. Он не замечал её раньше, потому что искал механического движения, а нашёл — разложение.

Он сидел у оливы. Той самой. Но сегодня он не стал ощупывать кору, не стал проверять трещины. Он знал, что кора мягка, как старая кожа на трупe. Он встал и пошёл к Агоре. Ноги несли его сами, словно он был подшит к этому пейзажу.

Агора гудела. Торговцы выкрикивали свои товары, но в криках этих ему слышалась не жизнь, а заученная молитва пустоте. Рабы тащили амфоры, и их спины, согнутые под тяжестью глины, были похожи на вопросительные знаки, обращённые к равнодушному небу. Женщины спешили к фонтану, и в их походке было что-то механическое — он вдруг понял, что все они бесплодны, что кувшины их пусты, и они наполняют их водой лишь затем, чтобы вылить и наполнить снова, вечно, ибо таков ритуал.

Он видел лица. И это было страшно. Он видел усталость не тел, а душ, изношенных до дыр. Он видел страх в глазах рабов — страх не перед хозяином, а перед тем, что однажды они проснутся свободными и не будут знать, куда деть эту чудовищную пустоту. Он увидел надежду на лицах женщин — надежду не на встречу, а на то, что в фонтане они увидят отражение не своего лица, а чьего-то чужого, менее заброшенного. Мир был живым, но его жизнью была агония.

Он нашёл Диогена у бочки. Тот сидел, прислонившись к глиняному боку, и жевал луковицу. Его грязный хитон, спутанная борода, босые ноги в струпьях — всё это было не

эпатажем, а формой существования, единственно возможной для того, кто уже наполовину вытек из собственного тела. В глазах его горела та же колючая, безумная ясность — свет, горящий в пустом черепе.

— Ты пришёл, — констатировал он, и голос его был похож на скрежет гравия в пустом ведре.

— Я всегда прихожу, — ответил Унитазов, садясь рядом и чувствуя, как холод от земли проникает в плоть, смешиваясь с внутренним холодом.

— Да. Но сегодня ты пришёл иначе, — Диоген наконец поднял голову. — Ты смотришь на мир не как на тюрьму. Ты смотришь на него как на склеп. И ты прав. Склеп уютнее. В нём не нужно шевелиться.

Унитазов улыбнулся, и улыбка эта была похожа на гримасу трупа.

— Я научился замечать гниль, — сказал он. — Я понял, что мир не повторяется. Он гниёт. Медленно, неуклонно, красиво. Я поднялся на холм и увидел это.

— Хорошо, — кивнул Диоген, и в его горле что-то булькнуло. — Тогда сегодня я покажу тебе свой дом. То место, где я окончательно разлагаюсь.

— Дом? — переспросил Унитазов. — Но ты же живёшь в бочке. Ты — экскремент, выползший наружу.

Диоген расхохотался — жутким, лающим смехом, от которого у прохожих кровь стыла в жилах.

— Бочка! — прохрипел он, утирая слезящиеся глаза гряз-

ным рукавом. — Бочка — это театр. Это моя приёмная. В ней я принимаю человеческое стадо. Но я не живу в ней. Я живу в Академии. У Платона. В самой сердцевине той лжи, которую я ежедневно выгрызаю из себя. Мне дали комнату, как дают угол пауку в музее. Кровать, стол, кувшин с дохлой мухой. Я там сплю. Или не сплю. Это неважно. Я свободен. Свободен в любое мгновение покинуть и комнату, и самую жизнь.

— Покажи мне, — прошептал Унитаров, чувствуя, как внутри него разрастается чёрная, голодная дыра любопытства. — Покажи мне Дом, где нет стен.

Они шли по пыльным улицам. Мимо домов, похожих на склепы. Мимо лавок, где торговали ненужными вещами. Мимо людей, чьи тени были плотнее и реальнее их тел. Диоген шёл впереди, не оглядываясь. Его босые ноги месили пыль, и Унитаров видел, что из трещин на его пятках сочится не кровь, а тёмная, маслянистая субстанция, похожая на ихор.

Академия встретила их тишиной. Это был сад, но не живой. Оливы и кипарисы стояли неподвижно, словно нарисованные, их листва не шелестела. Тени были слишком длинными для этого часа. В центре — здание с колоннадой, белое, как обглоданная кость. Школа Идей. Место, где расчленили истину, вынимая из неё внутренности и набивая пустоту словами.

Диоген провёл его в свою комнату. Она была мала, как

гроб. Кровать с тюфяком, набитым соломой, в которой копошились мелкие, неразличимые твари. Деревянный стол, на котором лежал слой вековой пыли. Глиняный кувшин с водой, на поверхности которой плавала зелёная, студенистая плёнка. И окно. Окно, выходящее в сад, где ничто не росло, а только присутствовало.

Унитазов стоял посреди этой кельи и вдруг почувствовал дикую, нечеловеческую зависть. Зависть не к дому, а к этой способности быть нигде. Диоген не жил здесь. Он здесь отсутствовал. Он мог уйти в любой момент, и комната даже не заметила бы его исчезновения, ибо он и так никогда не был в ней до конца.

— Ты завидуешь мне, — изрёк Диоген, и это было не чтение мыслей, а простое знание анатомии чужой пустоты.

— Да, — выдохнул Унитазов. — Ты свободен. Ты — вода, которая протекла сквозь пальцы мира. У тебя нет вещей, нет семьи, нет имени. Ты — никто.

Диоген оскалился.

— Ты идиот, — сказал он почти ласково. — Я привязан. Я привязан к этой гниющей падали, которую называю собой. К этой чёрной дыре, которая воет по ночам. Это единственная привязанность, которая имеет значение. Всё остальное — цепи, которые я сбросил, потому что они были слишком слабы, чтобы удержать такую бездну, как я.

Унитазов рухнул на пол, прижавшись спиной к холодной стене. Он смотрел в окно на мёртвый сад. Из глаз его текли

слёзы — густые, медленные, как гной.

— Моя дочь, — произнёс он. — Я оставил её там. В том мире. Я не знаю, жива ли она. Я не знаю, помнит ли она. Я ношу её в себе, как незакрытое дело. Это — моя цепь. И она выросла в мясо. Мне её не сбросить.

Диоген опустил рядом с ним. Сел на корточки, как пёс. Молчал долго, и в молчании этом было больше содержания, чем во всех лекциях Платона.

— Ты не должен её сбрасывать, — наконец проскрежетал он. — Эта цепь — не цепь. Это пуповина, связывающая тебя с той бездной, откуда ты выполз. Твоя дочь — это твоя единственная реальная дыра в этом мире картонных декораций. Ты не перейдёшь по мосту, потому что моста нет. Есть только провал. Ты должен научиться падать в него с лёгкостью. Важно не встретиться с ней. Важно, чтобы эта боль всегда была с тобой, как единственное доказательство, что ты был, а не просто казался.

Унитазов смотрел на ветви олив. Где-то вдалеке запела птица, и голос её был похож на скрип ржавых петель.

— Но что, если я умру, так и не провалившись до конца? Что, если я исчезну, а пустота останется?

— Тогда она унаследует твою пустоту, — прошептал Диоген, и голос его наполнился странным, потусторонним теплом. — Она почувствует внутри себя эту чёрную, зияющую дыру и поймёт, что это ты. Ты передашь ей то, что не передать руками. Ты передашь ей свою смерть. А это — величай-

ший дар. Потому что тот, кто носит в себе чужую смерть, уже не боится своей собственной.

Унитазов закрыл глаза. Слезы текли по щекам, но теперь они были не солёными, а горькими, как желчь. Они были живыми. Они были той самой эссенцией распада.

— Спасибо, — прошептал он в пустоту своей грудной клетки.

— Не благодари, — ответил Диоген, и его голос доносился уже откуда-то издалека, словно он говорил из-за стены, разделяющей миры. — Ты сам нашёл эту дверь. Я только показал тебе, что она никуда не ведёт.

Они сидели в тишине. Солнце садилось, заливая комнату красным, предсмертным светом. Унитазов чувствовал, как его засасывает обратно — в белый потолок, в писк прибора, во влажные пальцы санитарки. Но он не боялся. Его дом был не там. Его дом был здесь — в этой каморке, в самой сердцевине его собственного распада.

Перед тем как провалиться окончательно, он увидел на столе свою тетрадь. Она лежала там, хотя он не приносил её с собой. Или она всегда была здесь? Он не знал. Он открыл её. Страницы были чисты. Почти чисты. В самом конце, там, где он никогда не писал, появился новый текст. Тот же греческий почерк. Сократ.

«Ты встретишь человека в бочке. Он скажет тебе, что свобода — это ничего не иметь. Он будет прав. Но не до конца. Свобода — это не отсутствие вещей. Это отсутствие

страха перед отсутствием. Ты узнаешь это. Ты узнаешь это, когда умрёшь. Или когда перестанешь бояться смерти. Это одно и то же. Я знаю. Я пил цикуту. И я не боялся. Потому что я знал: мои вопросы переживут меня. Твои вопросы переживут тебя. Тетрадь переживёт нас всех. Она уже пережила. Она будет жить».

Унитазов перевернул страницу. Текст исчез. На его месте был только чистый лист.

Он закрыл тетрадь и прижал её к груди. Он чувствовал, как тепло разливается по его телу. Не физическое тепло. Иное. То, которое идёт откуда-то из глубины, из той самой пустоты, о которой говорил Диоген. Он не знал, что это. Но он знал, что это — настоящее.

«Завтра я снова приду, — подумал он, проваливаясь в серую муть. — И увижу гниль иначе. Ещё более разложившейся. Ещё более прекрасной».

Он открыл глаза в палате. Пятно на потолке обрело новый оттенок — цвет запёкшейся крови. Санитарка стояла, вцепившись в его запястье, и её ногти оставляли на коже белые, быстро исчезающие следы.

— Ты вернулся, — выдохнула она с облегчением тюремщика, чей узник не успел сбежать в смерть. — Я уже думала писать отчёт об убытии.

— Я всегда возвращаюсь, — ответил он. — Я здесь на учёте.

Она нахмурилась и вышла. Он остался один. Жёлтое пят-

но на потолке смотрело на него, и теперь он знал: это глаз. Глаз той самой пустоты, которая ждала его завтра. Он закрыл глаза и улыбнулся. Завтра будет новый день. Новый урок. И он был готов к нему. Потому что он больше не боялся повторения. Он боялся только одного: что Диоген однажды перестанет его ждать, и тогда ему придётся искать дорогу в этот чудный, гниющий мир самостоятельно.

Но прежде чем уснуть, он взял тетрадь. Открыл её. И увидел ещё одну запись. Сократ. Последняя. Там было написано:

«Ты не один. Ты никогда не был один. Тетрадь соединяет всех, кто в неё писал. Всех, кто в неё напишет. Я — первый. Ты — второй. За тобой придут другие. Мы все — одна река. Мы все — одна вода. Ты уже часть этой реки. Ты уже течёшь. Не бойся. Вода не боится. Вода просто течёт».

Унитазов закрыл тетрадь. Он не плакал. Он улыбался. Улыбка его была похожа на улыбку трупа, но в ней было что-то живое — то, что не умирает, даже когда умирает тело.

Он заснул. И ему снилась вода. Бесконечная, тёплая, чистая вода. Он плыл по ней, и рядом с ним плыли другие — Сократ, Диоген, санитарка, его дочь, и кто-то ещё, кого он не знал, но чувствовал, что это тоже часть течения. Он плыл и не боялся. Потому что вода не боится. Вода просто течёт.

Глава 2. Ночлег у врага, или канцелярия тьмы.

В этот раз переход совершился не через синеву и солнце, а через грубую, административную ошибку в протоколе умирания. Он не провалился — его словно передвинули, как папку с одного стола на другой, без объяснений и церемоний.

Он помнил, как санитарка взяла его за руку, как её пальцы — сегодня они были сухими и горячими, как бумага, только что вынутая из печатной машинки, — сомкнулись на запястье. Он помнил, как закрыл глаза, ожидая привычного перехода в мир олив и базарного гомона. Но вместо этого его встретила тьма. Не та временная, предрассветная, что тает с первыми лучами, а тьма абсолютная, плотная, как содержимое выгребной ямы, и имеющая свой особый, неповторимый запах. Пахло сырой глиной, чесноком, старым тряпьем, мочой и чем-то ещё — тем особым, тошнотворно-сладковатым душком, какой бывает в комнатах безнадёжно одиноких стариков, где сама жизнь уже начала процесс медленного, тайного гниения.

Он не мог понять, где находится. Не видел ни неба, ни земли, ни ступеней храма. Только темнота, такая глубокая, что, казалось, она проникла внутрь его черепа и выела глаза изнутри.

— Ты пришёл, — раздался голос из самого сердца этой тьмы. Голос был хриплым, низким, с лёгкой, почти неуловимой насмешкой, словно говоривший заранее знал нечто такое, что делало любое удивление излишним. Это был Диоген.

— Где я? — спросил Унитазов, и собственный голос показался ему писком насекомого, завязшего в смоле. — Почему здесь так темно? Это часть процедуры?

— Ты в моём доме, — ответил голос, и во тьме слышался хруст. Кто-то жевал луковицу. — В настоящем доме. Не в той театральной коробке при Академии, где я изображаю ручного безумца для Платоновых гостей. И не в бочке, где я, как ярмарочный урод, демонстрирую толпе её собственное свинство. Здесь. В норе. Там, где я сплю, когда хочу остаться наедине со своей гнилью.

Глаза начали привыкать к темноте, но не так, как привыкают к отсутствию света. Скорее, сама темнота начала нехотя, словно по разнарядке, выделять из себя предметы. Унитазов различил очертания комнаты — маленькой, тесной, с низким, давящим потолком, который, казалось, медленно, но неуклонно опускается, чтобы раздавить обитателя. В углу тускло, умирая, мерцал очаг, засыпанный пеплом, похожим на прах кремированных надежд. На полу, на куче прелой соломы, напоминавшей звериную подстилку, скрестив

босые, покрытые коркой грязи ноги, сидел Диоген. Он сосредоточенно, с каким-то каннибальским наслаждением, жевал луковицу, и хруст этот был единственным звуком, нарушавшим могильную тишину.

— Почему мы здесь? — спросил Унитазов, с трудом опускаясь на холодный земляной пол. Тело не слушалось, каждое движение отдавалось тупой, ноющей болью. — Ты всегда встречал меня у бочки. На Агоре. При свете солнца. В декорациях.

— Потому что ты изменился, — ответил Диоген, откусывая ещё кусок лука, и сок брызнул в темноту невидимой искрой. — Ты перестал бояться солнца. Солнце — это ложь. Оно освещает формы, но скрывает суть. Ты научился видеть при свете. Теперь ты должен научиться видеть во тьме. Потому что истина, чужеземец, обитает только здесь. В темноте. В норе. В том месте, куда не заглядывают даже боги, потому что боятся увидеть собственное отражение.

Унитазов обвёл взглядом стены — каменные, голые, покрытые не просто копотью, а каким-то чёрным, маслянистым налётом, который, казалось, сочился из самих пор камня. В углу висела рваная одежда, похожая на сброшенную змеиную кожу. На столе — глиняная миска с остатками похлёбки, в которой плавали разбухшие, неузнаваемые частицы чего-то, бывшего когда-то пищей. Всё здесь было чужим,

тёмным, враждебным, пропитанным той особой, предельной заброшенностью, когда вещь перестаёт быть вещью и становится просто сгустком материи, обречённым на распад.

— Ты живёшь здесь? — спросил он, и в голосе его прозвучало не отвращение, а странное, болезненное любопытство.

— Когда хочу, — ответил Диоген, облизывая грязные пальцы. — Иногда я сплю в Академии, чтобы чувствовать, как их «идеи» высасывают из меня остатки разума. Иногда здесь, чтобы чувствовать, как земля принимает меня обратно в своё чрево. Иногда под открытым небом, чтобы звёзды видели мой позор. Это не имеет значения. Дом — это не место. Это не стены и не крыша. Дом — это точка, в которой ты можешь быть тем, что ты есть на самом деле — куском смердящей плоти, копошащимся в ожидании конца. И не бояться, что тебя за это осудят. Потому что здесь некому осуждать.

Унитазов кивнул, хотя в темноте этого жеста не мог увидеть никто. Перед его внутренним взором всплыла его квартира. Пустая, холодная, с обоями, отслаивавшимися от стен, как кожа прокажённого. Он жил там, но это не было его домом. Это был архив его падений, место, где он прятался от жизни, от дочери, от себя самого — от всего того невыносимого, что требовало поступков и решений. Это был не дом, а карантинная зона духа.

— Я тоже хочу быть собой, — произнёс он, и слова эти вырвались из него как исповедь, как предсмертное признание. — Но я не знаю, кто я. Я — пустота, заполненная страхом.

— Ты — тот, кто сидит здесь, в темноте, и не боится, — отрезал Диоген. — Вернее, боится, но уже не убегает. Ты — тот, кто пришёл сюда, в эту нору, в эту выгребную яму истины, чтобы узнать правду. Ты — тот, кто готов учиться. Это уже больше, чем есть у большинства. Большинство — это ходячие трупы, которые даже не подозревают о своей смерти. Ты хотя бы знаешь, что умираешь.

Он отбросил огрызок лука в темноту, и тот шмякнулся о стену с мокрым, неприятным звуком. Поднялся, кряхтя, как старик, хотя в его движениях сквозила странная, звериная грация. Подошёл к очагу, разворошил пепел костлявой рукой, подложил сухих веток, которые лежали тут же, в углу, похожие на обглоданные кости. Через минуту огонь вспыхнул, осветив комнату тёплым, дрожащим светом, который не рассеивал тьму, а лишь делал её видимой, очерчивал её границы.

Унитазов увидел лицо Диогена — морщинистое, грязное, с глубокими, чёрными тенями под глазами, провалившимися так глубоко, что, казалось, там, внутри черепа, уже ничего нет, кроме этой самой тьмы. Но в этих глазах-провалах горел

огонь. Не отражение пламени, а его собственный, внутренний, метафизический огонь, пожиривший его изнутри.

— Ты говорил, что я должен научиться не бояться темноты, — сказал Унитазов, глядя на пляску теней. — Но ты зажёг огонь. Зачем? Чтобы обмануть меня?

Диоген усмехнулся, обнажив дёсны, чёрные, как земля, в которой он спал.

— Огонь — это не свет, идиот, — сказал он почти ласково. — Это тепло. Тьма не исчезает от света. Свет — это просто вежливая ложь, которую мы рассказываем себе днём. Она просто отступает на шаг. Но она всегда здесь, рядом, ждёт. И если ты боишься её по-настоящему, ты будешь бояться, даже когда горит тысяча факелов. Я зажёг его, чтобы ты увидел меня. Не мою тень, не мою идею. А меня. Вот эту грязь под ногтями. Эти струпья на коже. Эту гниль в глазах. Чтобы ты понял: я — не символ. Я — человек. Такой же кусок падали, как и ты. Просто я знаю об этом чуть дольше.

Унитазов смотрел на огонь, на тени, на лицо Диогена, и его собственная палата предстала перед ним в новом, чудовищном свете. Белые стены, жёлтое пятно гнили, писк прибора — это был тот же самый очаг, тот же самый суррогат света. Но тьма была не снаружи. Она была внутри него, и она не отступала ни на шаг, даже когда горели все лампы днев-

ного света. Она сидела в нём, как квартирант, и медленно пожирала остатки его души.

— Я боюсь, — выдохнул он, и голос его сорвался. — Не смерти. Смерть — это просто подпись в конце документа. Я боюсь, что когда меня не станет, не останется ничего. Вообще ничего. Как будто меня и не было. Как будто я — пустая строка в формуляре. Что моя дочь даже не узнает, что в этой гниющей оболочке когда-то жила мысль, что я пытался... пытался стать не дерьмом.

Диоген сел напротив него, прямо на пол, скрестив ноги, и уставился в огонь. Его голос стал тише, но в этой тишине было больше веса, чем в крике.

— Ты уже оставил след, — сказал он. — Не думай, что след — это мраморная плита или пачка денег. След — это дыра. Ты пришёл сюда, в этот бред, в этот сон умирающего мозга. Ты слушал. Ты, скрипя мозгами, менялся. Это — след. Ты останешься в моей памяти. А моя память, поверь, надёжнее любого архива. Ты не исчезнешь. Ты останешься здесь, в этой норе, в этом городе, в моей башке. Даже когда тебя не будет там, наверху.

Унитазов молчал. Огонь потрескивал, выплёвывая в темноту снопы искр. Где-то за стеной, сложенной из грубого камня, завывал ветер, и вой этот был похож на голос заблудившейся собаки. Тепло от очага лизало его лицо, руки,

согревало грудь, но внутри по-прежнему был холод. Холод одиночества. Холод вины.

— Я напишу ей, — сказал он наконец, и слова эти были тверды, как никогда. — Я напишу ей всё. Не для того, чтобы оправдаться. Оправдания — это дерьмо. Я напишу всё, что понял здесь. Всю эту чёрную, вонючую правду. Чтобы она знала. Чтобы она не стыдилась моего имени. Чтобы она поняла, что её отец был не просто сантехником, утонувшим в собственных нечистотах.

Диоген кивнул медленно, торжественно, словно принимая присягу.

— Напиши, — сказал он. — Напиши правду. Без страха. Без лжи, которой вы, люди из будущего, обмазываетесь, как кремом. Напиши, как ты был рабом, прикованным к своей блевотине. И как ты стал свободным, лёжа на койке, не в силах пошевелить пальцем. Напиши, как ты учился не бояться темноты, сидя в ней рядом со мной, безумным псом. Напиши, как ты любил её. Даже когда был пьян. Даже когда валялся в подъезде. Даже когда не мог спуститься к ней во двор, потому что ноги не держали. Любовь в падении — вот единственная любовь, которая чего-то стоит.

Унитазов закрыл глаза. Слезы текли по его щекам, смешиваясь с грязью этого мира, и он чувствовал, как они прокладывают себе путь по морщинам, словно реки по иссох-

шей земле. Они были тёплыми, живыми, и в них была вся соль его глупой, загубленной жизни.

— Я сделаю это, — сказал он. — Я напишу ей. И оставлю в тетради. Это — моё завещание.

— Нет! — вдруг рывкнул Диоген так, что пламя в очаге вздрогнуло. — Не после. При жизни. Какая разница, что ты оставишь после? Мертвецы не пишут писем. Отправь ей. Отправь сейчас. Как только вернёшься в свою коробку с пищалкой. Не жди. Время — это не деньги. Время — это гной, который течёт из твоей раны. Не дай ему вытечь впустую.

Унитазов открыл глаза. Он посмотрел на Диогена — на это грязное, страшное, прекрасное в своей обнажённой истинности лицо. И вдруг он понял, что этот человек, у которого не было ничего — ни дома, ни семьи, ни будущего, ни даже приличной миски, — имел больше, чем кто-либо из его знакомых, живых или мёртвых. У него была свобода. Не свобода передвижения, не свобода слова. А та единственная, последняя свобода: свобода быть ничем. И это «ничто» было наполнено такой бездонной, чёрной, как эта комната, мудростью, что дух захватывало.

— Спасибо, — прошептал Унитазов одними губами.

— Не смей, — отрезал Диоген, снова уставясь в огонь. —

Благодарность — это цепь. Не приковывай себя ко мне. Я тебе не учитель. Я — такое же дерьмо, просто высохшее. Завтра мы поговорим о перечекировке монеты. О том, как переплавить свою душу, не имея ни кузницы, ни огня. Ты готов?

— Да, — ответил Унитазов, чувствуя, как сознание начинает мутиться, как тьма в углах комнаты становится гуще и агрессивнее. — Я готов. Я вернусь.

— Не обещай, — бросил Диоген. — Просто будь. Или не будь. Это неважно.

Огонь начал угасать, словно его заливали невидимые, чёрные чернила. Свет умирал, уступая место той самой первичной тьме, из которой всё вышло и в которую всё вернётся. Голос Диогена звучал в его ушах, как последняя резолюция на прощении о помиловании, в которой было отказано:

— Помни: ты — не дерьмо. Дерьмо — это форма. Ты — вода. Ты течёшь туда, куда хочешь. И никто не может остановить тебя, потому что никто не может схватить воду. Она просачивается сквозь пальцы. Даже сквозь пальцы Смерти.

Он провалился обратно в свет. В белый, стерильный, больничный свет, который был страшнее любой тьмы.

Он открыл глаза. Потолок. Пятно. Писк прибора — неровный, сбивчивый, как сердце загнанной крысы. Сани-

тарка стояла у его койки, вцепившись в его запястье. Её лицо было серым от усталости.

— Ты вернулся, — констатировала она без эмоций. — Ты спал всего час. Но выглядишь так, будто прожил ещё одну целую жизнь. Или умер несколько раз подряд.

— Я прожил её, — прохрипел он, не открывая глаз. — Несколько раз. Там, внизу.

Она покачала головой, ничего не сказала. Проверила капельницу и вышла, оставив его наедине с его тетрадю.

Он повернулся на бок, преодолевая боль и слабость. Каждое движение было агонией. Рука, дрожа, как у столетнего старика, потянулась к тумбочке. Он взял тетрадь — зелёную, в клетку. Открыл. Карандаш, зажатый в непослушных пальцах, царапал бумагу, оставляя рваные, угловатые, почти нечитаемые буквы. Но он писал. Он вдавливал грифель в лист, оставляя не слова, а самую суть своего распадающегося духа:

«Моя дорогая Алиса. Я пишу это письмо из ямы. Не бойся, это не страшно. Твой отец не был пустым местом. Он был дырой, которая пыталась стать водой. Он боялся, ошибался, пил, валялся в собственной блевотине. Но он любил тебя. Любовь эта была грязной, корявой, бессильной, но она была

единственным светом в той темноте, где я жил. Я научился быть свободным. Свободным от страха. Даже сейчас, когда моё тело — тюрьма, а лёгкие — рваные мехи. Я хочу, чтобы ты знала: ты тоже можешь быть свободной. Свобода — это не когда у тебя всё есть. Свобода — это когда ты можешь спокойно смотреть в темноту и видеть там не врага, а часть себя. Я всегда любил тебя. Даже когда не мог спуститься к тебе во двор. Прости меня за это. Прости за всё. Это не оправдание. Это просто правда. Вся правда. Без лжи. Это — моё наследство. Единственное, что у меня было. Свобода. Возьми её. Папа».

Он отложил карандаш. Закрыл тетрадь и прижал её к груди, туда, где сердце всё ещё билось — слабо, неровно, но билось. Слезы текли по его щекам, но он улыбался. Он сделал это. Он подписал свой собственный приговор и сам же вынес оправдательный вердикт. Дело было закрыто. Оставалось только дожидаться исполнения.

Глава 3. Приглашение в дом, или трапеза отверженных.

Он проснулся от того, что нечто невидимое, но властное трясло его за плечо — не рука, а, скорее, импульс, посланный из какого-то отдалённого департамента бытия. Белый потолок. Жёлтое пятно, которое за ночь, казалось, изменило свои очертания, выпустив тонкое, как волос, щупальце к углу. Писк прибора. Всё было на месте, подшито и зарегистрировано. Но что-то изменилось. Он не мог понять, что именно, пока не услышал голос санитарки — он звучал иначе, с той особой, сдавленной тревогой, какая бывает у мелкого чиновника, случайно заглянувшего в секретное дело и обнаружившего там собственную фамилию.

— Ты разговаривал во сне, — констатировала она, и в голосе её слышался холод формального протокола, смешанный с почти суеверным ужасом. — Громко. Ты кричал: «Я не боюсь! Я не боюсь!» — как будто отдавал команду невидимому войску. Я думала, тебе плохо. Я думала, началась агония, и приготовила документы.

— Мне хорошо, — ответил он, и слова эти прозвучали с той спокойной, нечеловеческой уверенностью, которая пугает больше любых криков. — Мне очень хорошо. Как будто

я уже умер, но мне разрешили остаться.

Она покачала головой, поменяла капельницу с видом уборщицы, замывающей кровь на месте нераскрытого преступления, и вышла, плотно притворив за собой дверь. Он закрыл глаза. И провалился — но на этот раз падение было не хаотичным, а направленным, словно он спускался по невидимой лестнице, ведущей в подвал реальности.

Агора встретила его привычным гвалтом — тем механическим, заученным шумом, который был не звуком жизни, а скрежетом вечно прокручиваемой пластинки. Но сегодня он не искал Диогена у бочки. Он знал — не умом, а тем новым, звериным чутьём, которое проснулось в нём, — что тот ждёт его в другом месте. Он шёл через толпу, и люди расступались перед ним, как перед заразным больным, сами не понимая, почему отшатываются. В нём поселилась пустота, и эта пустота была заметнее любой физической оболочки.

Он шёл к дому на окраине — к той самой норе, где Диоген, по его собственным словам, «гноил своё одиночество». Дверь была приоткрыта — не из гостеприимства, а из полного безразличия к тому, войдёт кто-то или нет. Он толкнул её и переступил порог.

Диоген сидел у очага. Огонь горел не ярко, но ровно — маленькое, ручное солнце в этом склепе. В закопчённом глиняном горшке что-то булькало, испуская запах — терпкий, густой, состоящий из чеснока, мяты, варёных бобов и ещё чего-то неуловимого, похожего на запах самой земли, из ко-

торой всё выходит и в которую всё возвращается. Он не обернулся, но его голос, хриплый и будничныи, разрезал тишину:

— Ты пришёл. Я знал, что ты придёшь. Ты не мог не прийти, потому что тебя уже нет там, наверху. Садись. Не на стул — стулья для тех, у кого есть должность. Садись на пол. Пол — это честно.

Унитазов опустился на утопанную землю, прислонившись спиной к холодной, шершавой стене. Он смотрел на огонь, на костлявые руки Диогена, помешивавшие варево деревянной ложкой, стёртой до состояния щепки. И вдруг он почувствовал голод. Не тот больничныи, унылый позыв, который гасили безвкусными кашами и растворами. Другой голод — глубинныи, метафизический, словно сама его душа, изголодавшаяся по реальности, требовала пищи. В этом мире, где он был никем и ничем, он вдруг ощутил себя живым. Живым до боли.

— Ты голоден, — произнёс Диоген, не оборачиваясь. Это было не вопрос. Это была констатация факта, занесённая в невидимый реестр.

— Да, — выдохнул Унитазов. — Я не знал, что могу быть голоден здесь. Я думал, это просто... предсмертныи бред.

Диоген издал короткий, лающий смешок.

— Бред? Нет. Бред — это то, что ты оставил в своей палате. А это — единственная реальность, допущенная к рассмотрению. Ты здесь. Ты чувствуешь запах. Ты голоден. Значит, ты жив. По-настоящему жив. Впервые за всё твоё жалкое, учтённое в домовых книгах существование.

Он разлил похлёбку по двум глиняным чашам — грубым, с шербатыми краями, — и одну протянул Унитазову. Тот взял её. Глина обжигала пальцы, причиняя почти непереносимую, острую боль. И эта боль была прекрасна. Она была доказательством.

— Ешь, — приказал Диоген. — Эта еда — не подачка. Это причастие. Это чечевица, выросшая на дерьме этого города. В ней — вся его суть. Ешь и вбирай в себя его гниль, чтобы понять её.

Унитазов поднёс чашу к губам и сделал глоток. Жидкость была густой, обжигающей, с грубым, землистым вкусом. Чечевица рассыпалась на языке, оставляя привкус мяты и чеснока. Это была не еда. Это была сама жизнь, протёртая сквозь сито страдания. Не та стерильная баланда, пахнувшая бумагой и хлоркой. Настоящая. Из очага. Из рук человека, который не жалел никого, но налил ему похлёбку.

— Спасибо, — прошептал он, отрываясь от чаши.

Диоген кивнул, но в кивке этом не было благодушия.

Он тоже ел — медленно, сосредоточенно, с той звериной неспешностью, с какой ест пёс, знающий, что следующая кость может не появиться никогда.

— Ты хочешь знать, кто я, — начал он, уставясь в огонь. — Это не важно. «Кто я» — это пустая графа в формуляре. Но я расскажу тебе, что меня сделало. Потому что ты, со своей гниющей плотью и пробуждающимся духом, возможно, поймёшь.

Он отложил ложку, и лицо его, освещённое пламенем, стало похоже на посмертную маску, снятую с ещё живого лица.

— Мой отец был менялой, — сказал он, и голос его стал глуше, словно доносился из-под земли. — У него была лавка в Синопе. Не лавка, а маленькая, вонючая контора, где он обменивал одну ложь на другую. Греческие драхмы, персидские дарики, египетские утбены — фальшивые монеты, отчеканенные из страха и жадности. Он знал, как из одной монеты сделать две. Как обрезать края, незаметно, по крупице, как добавить в серебро свинец — металл Сатурна, металл смерти. Он знал, как обмануть так, чтобы обманутый чувствовал себя счастливым. Он был виртуозом пустоты. Он был жуликом. И он был моим отцом.

Унитазов слушал, затаив дыхание. Ложка в его руке замерла.

— Однажды его поймали, — продолжал Диоген, и в голосе его не было ни печали, ни злости, только констатация. — Кто-то донёс. Всегда кто-то доносит. Так устроен мир. Его взяли. И меня взяли с ним, потому что я помогал ему. Я был молод, мне было лет двадцать, и я не знал, что это «плохо». Я просто делал то, что делал отец. Сын должен повторять отца — это первый закон любой канцелярии, небесной или земной.

Он замолчал, взял ложку, помешал похлёбку, но есть не стал.

— Его казнили. Отца. Публично. В назидание. А меня изгнали. Сказали: «Убирайся из Синопы. И не возвращайся. Ты — фальшивая монета, изъятая из обращения». Я ушёл. Нищий, без гроша, без дома, без имени. Я пришёл в Афины, чтобы начать новую жизнь. И я начал её. Я перчеканил монету. Не ту, что из серебра. Серебро — прах. Я перчеканил ту монету, что в головах. Я понял: всё, что люди считают ценным — деньги, слава, почести, сама жизнь, — это фальшивка. Они как монеты моего отца: блестят снаружи, а внутри — свинец. Пустота, прикинувшаяся тяжестью.

Он поднял глаза на Унитазова, и взгляд этот пронзил его, как игла, входящая в вену.

— Ты понимаешь, что я говорю?

— Понимаю, — ответил Унитазов, и его собственный голос показался ему чужим, идущим из живота. — Я вспомнил свою жизнь. Свою квартиру — склеп с обоями. Свою работу — поклонение унитазам, наполненным чужим дерьмом. Свою семью — фантом, за которым я прятался от самого себя. Даже дочь. Я говорил, что люблю её. Но моя любовь была пустой. Это была не любовь, а страх. Страх быть забытым. Я не умел любить. Я умел только бояться.

Диоген кивнул, и в этом кивке было что-то похожее на удовлетворение патологоанатома, подтвердившего диагноз.

— Ты думаешь, что я свободен, потому что у меня ничего нет? Бочка, палка, плащ, вши? — он хрипло рассмеялся. — Нет. Ты глуп, как и все они. Я свободен не потому, что у меня нет вещей. Я свободен потому, что я перестал верить в их ценность. Я перестал быть менялой. Я сплю на этой койке, набитой гнилой соломой. Я ем эту чечевицу. Я сижу в этой норе. И мне ничего не нужно. Потому что это — не фальшивка. Это — настоящее. Единственное, что не обманет.

Унитазов обвёл комнату взглядом. Голые стены. Койка, похожая на смертный одр. Стол, кувшин с трещиной. И вдруг его взгляд упал на то, чего он не заметил раньше. В углу, на низкой, грубо сколоченной полке, стояли книги. Не свитки, которые он привык ассоциировать с этим миром. Книги. Несколько штук, в тяжёлых кожаных переплётах, с потёртыми, засаленными корешками. Они стояли плотно,

как ряд солдат забытой армии.

— Ты читаешь? — спросил Унитаров, и в голосе его прозвучало изумление, почти святотатственное.

— А ты думал, если я живу в бочке и сплю с псами, я должен быть тупицей? — усмехнулся Диоген. — Ты думал, что киники — это дикари, отрицающие всё? Нет. Мы отрицаем ложь. Мы не отрицаем истину. А чтобы отличить одно от другого, нужно уметь читать. Не буквы. Буквы — это просто тени. Нужно уметь читать суть.

Унитаров, повинувшись неясному импульсу, поднялся и подошёл к полке. Пальцы его коснулись корешка. Кожа была шершавой, тёплой, почти живой. Книги не были пыльными. Их брали в руки. Часто.

— Ты считаешь, что учёность — это мусор, — продолжал Диоген, вставая и подходя к нему. — Так считают все глупцы, которые называют себя моими последователями. Мы не презираем знания. Мы презираем учёность ради учёности, знание как украшение, как гирлянда на шее осла. Мы презираем тех, кто читает, чтобы казаться умным, чтобы подавлять других своей эрудицией. Мы читаем, чтобы понимать. Чтобы видеть, что скрыто за словами — ту самую первичную тьму. Чтобы перечекивать монеты в чужих головах, как мой отец перечекивал драхмы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.